



УРАГАН

РАССКАЗ-БЫЛЬ

Поздно вечером зашел ко мне давнишний приятель, актер Камчатского драматического театра Володя Космачевский, и прямо с порога, стряхнув снег с нерпичьей ушанки, выпалил:

— Ты слышал? Вчера после пурги поисковики откопали людей, которые своими телами как бы создали заслон и укрыли женщину с ребенком. Все они погибли. А мать с ребенком выходили.

Володя был популярной личностью на полуострове. В театре чаще всего он играл похожих на себя героев. Молодой здоровенный красивый парень, да еще и непоседа, каких свет не видел. Вместе с геологами исходил тундру и тайгу вдоль и поперек. Часто говорил, что, если бы не был артистом, непременно пошел бы в геологи. Пожалуй, самой большой страстью его была охота на медведя. О каждом убитом медведе целый год мог говорить. Добавлю, что в довершение ко всему Володя писал пьесы, которые с успехом шли на сцене. Я даже могу похвастаться: каждое новое действие очередной пьесы он читал мне первому. Позвонит, бывало, ко мне в дверь, а на дворе час ночи.

— Вот возьми и напиши пьесу об этих людях, спасших мать и ребенка, — предложил я.

Володя сказал, что сейчас он работает сразу над двумя вещами, но что когда-нибудь, может, действительно напишет о них. В тот вечер, как обычно, он прочитал очередной отрывок из своей пьесы, и мы расстались далеко за полночь.

На следующий день всему Петропавловску-Камчатскому стало известно о происшедшей накануне трагедии. Но такова Камчатка, что одно событие через несколько дней вытесняется другим, иногда драматичным, иногда просто необычайным. Недели через две жители Камчатки, от мала до велика, с утра до поздней ночи только и говорили о землетрясении, явлении, казалось бы, в этом краю света обычном, будничном. Но на сей раз оно было сногшибательным в буквальном и прямом смысле слова.

Через некоторое время «Литературная газета» под рубрикой «Страницы из дневника» напечатала мои материалы с полуострова, в том числе о трагедии, рассказанной мне Володей Космачевским.

С тех пор прошло, наверное, лет пять. Многое изменилось в моей жизни, в жизни моих друзей. Лишь Камчатка оставалась неизменной со своими вечными сюрпризами. Об одном из них и мой рассказ.

В поселке Тиличики, где я находился в командировке, меня попросили выступить по местному радио. Такую, как медики называли, санпросветнагрузку давали каждому командированному врачу. О том, что врач приехал из города или, как там принято говорить, «из области» и будет выступать по радио, быстро стало известно жителям огромного северного района. Диктор считал своим долгом после каждой передачи непременно напоминать, что вечером по радио областной врач (называлась фамилия, имя и отчество) выступит с беседой об осанке детей.

Текст моей беседы был заранее написан, и я без каких-либо изменений читал его в каждом районном центре во время командировок. Нарушение осанки у детей на Крайнем Севере — одна из серьезных проблем, и этому делу мы, врачи, уделяли большое внимание.

Сразу же после передачи я вернулся по занесенной снегом улице в гостиницу. В узком коридоре у самых дверей моего номера на тумбочке стоял пузатый алюминиевый бак, на котором кривыми буквами было написано «питьевая вода». Всякий раз перед тем, как зайти к себе, я отодвигал тумбочку с баком подальше от двери, но кто-то с таким же упорством водружал «питьевую воду» на прежнее место. И всю ночь я слышал, как лязгает длинная железная ржавая цепь, прикрепленная к ручке бака. Наверное, загулявших командированных по ночам мучила жажда.

И на этот раз я отодвинул тумбочку с баком, вошел в свой крохотный двухместный «люкс», в котором жил один, и плюхнулся на аккуратно застеленную кровать, глубоко проваливаясь в панцирную сетку. Меня всегда тянет поваляться на мягкой постели поверх одеяла, не раздеваясь.

Я потянулся было за газетой, лежащей на столе — тоже ведь удовольствие почитать лежа, — как постучали в дверь. Я торопливо вскочил и, прилежно усевшись за стол, крикнул:

— Войдите!

Дверь открылась. На пороге стояла простоволосая женщина. Мне показалось — она появилась в дверном проеме как на фотопленке. Молодая, рослая, красивая, в черной цигейковой шубе. Раздалось знакомое лязганье за дверью, женщина, повернувшись назад, строго сказала:

— Сурен! Не трогай там ничего! Иди сюда!

В комнату вошел розовощекий мальчик с большими черными глазами. Такие глаза у детей на Севере редко встретишь. Он схватил мать за руку и, наклонив голову набок, принялся внимательно разглядывать меня.

— Я вас слушаю, — сказал я, неизвестно почему чувствуя неловкость.

— Я только что слушала радио, — начала женщина, — я еще днем знала, что вы будете говорить по радио...

— У вас что-нибудь с ребенком?

— Нет. С ребенком, слава Богу, все в порядке. Еще днем, когда я услышала вашу фамилию, догадалась, что вы — это тот самый...

Лицо моей гостьи было таким же строгим, как и ее голос. Светлые глаза излучали печаль.

— Проходите, пожалуйста, — наконец нашелся я и достал из-под стола табуретку. — Что вы имеете в виду, сказав «тот самый»? У меня впечатление, что вы меня с кем-то путаете.

— Нет, не путаю. Вы писали в газете пять лет назад о гибели моряков...

Я сел на кровать. Теперь я в самом деле был ошарашен. Передо мной, говоря ее же словами, были «та самая» женщина и «тот самый» ребенок.

— Садитесь, — вновь предложил я, вскочив с места, — проходите и садитесь. Может быть, вы разденетесь, давайте я вам помогу.

— Нет. Спасибо, — все тем же строгим и печальным голосом сказала женщина, — я только на минуту. Я хочу оставить вам вот это.

Она достала из сумки свернутую в трубку тоненькую ученическую тетрадку в голубой обложке.

— Что это?

— Это вам. Я давно это написала, да так и не отправила. Сначала адреса точного не знала, а потом и вовсе почему-то передумала. Хотя, честно говоря, переписывала несколько раз. Я все это написала года через два после того, как вы напечатали о нас в газете. И вот теперь сам Бог привел вас к нам в поселок.

Я сегодня весь день места себе не находила. Думала, передать вам письмо или нет? И вот решилась. Здесь я написала все, как было тогда. Может, понадобится.

Она попросилась и вышла, держа за руку сына. Перед тем как закрыть дверь, мальчик широко и радостно улыбнулся мне, показав ровный ряд рисинок-зубов. Стало вдруг пусто и тихо. Я все еще смотрел на дверь. Теперь казалось — пленка засветилась. Лязгание железной цепи прервало мои мысли. Я сел за стол. Развернул тоненькую тетрадку, разгладил ее, чтобы расправить страницы. Открыл и начал читать. Дойдя до конца страницы, я обнаружил, что читал невнимательно, и, сосредоточившись, начал сначала:

«Я давно собиралась написать Вам. Сознавала, что это просто необходимо сделать. Прочитав заметку об урагане, который выбросил баржу на берег, и о том, как погибли моряки, я решила рассказать Вам подробнее, насколько смогу, о случившемся. В заметке Вы не называли имен ребят. Нельзя, чтобы люди уходили бесследно, как ветер.

В тот день мы шли на барже из поселка Ильпырское в Корф. Капитаном судна был мой муж, Дереник Суренович Азарян. Правда, друзья никогда не звали его по имени. В шутку они называли его Дерсу. А иногда все сокращали, и получалось — Дерсу Азара. Совсем как проводника Арсеньева, помните, Дерсу Узала. В тот осенний день мы всей семьей переезжали в Корф. С нами был восьмимесячный сын Сурен. Так Дереник назвал сына в честь своего отца. За три года нашей семейной жизни мы много раз переезжали с места на место, так что я уже привыкла к этому. С тех пор как я окончила Петропавловское педучилище, мы жили в четырех портовых поселках. На сей раз Дерсу (я сама его так часто называла) обещал, что в Корфе мы обоснуемся, как он говорил, капитально. Переезжали всякий раз на судне, так что я постепенно становилась заправским моряком. Пока мы шли по Ананкинскому заливу, стояла прекрасная погода. Накануне Дерсу получил сводку у синоптиков — те обещали тишь да гладь. В кубрике нас было семеро: я с маленьким Суреном и еще пятеро моряков. Три человека находились наверху, рядом с мужем.

Никогда не забуду, как в тот день веселились ребята. Как они хохотали! Рассказывали смешные анекдоты и байки и договаривались, что, если кто проронит в моем присутствии хоть одно крепкое словцо, экзекуции не миновать. Заводилой и весельчаком был Евгений Сидорцев. Высокий, плечистый, с

бронзовым загаром. Глаза у него были серые, а волосы седые. Я помню, тогда обратила внимание, что глаза и волосы одного цвета. Я понимала, что мое присутствие сковывает ребят, но не могла не заметить, что оно и подзадоривает их. Ребята очень хотели, чтобы мне не было с ними скучно. И старались вовсю. Если пауза между очередными взрывами хохота чуть затягивалась, они начинали беспокоиться. Как это они, морские волки, не могли вдруг занять одну-единственную даму, да еще жену капитана. Особенно старался Павел Козлов со своей гитарой. Гитара висела у него на животе, а лоснящийся шнур, привязанный к гитаре, был косо перекинут через плечо.

Ни одну песню ребятам не удалось допеть до конца: с середины по чьей-нибудь инициативе переходили на другую. Видно, много песен они знали. Мне запомнилось, как пел Евгений Лонгинов. Его бас заглушал все голоса. Казалось, судно дрожит. У Лонгинова были монгольский тип лица, скулы резко очерченные, глаза раскосые. Бушлат свой он носил нараспашку, на груди виднелась полосатая тельняшка. И поэтому Вадим Шевченко не раз шутил, обращаясь к Лонгинову: «Закрой киль, в глазах рябит». У Вадима лицо было нежное, девичье, и сам он был хрупким, непохожим на бывалого моряка. А фразу эту, про киль, он произносил нарочито глухим и низким голосом, и все очень смеялись.

Хуже всех я помню Юстаса Лаурушаса. Совсем, можно сказать, не помню. Я его тогда в первый раз увидела. Одно только помню, он был очень тихий и, по-моему, высокий. Смеялся со всеми. Пел. А вот смешных историй не рассказывал. Говорил с акцентом. Вообще мало говорил, так что и голоса его не помню.

Больше всего перепало Паше Козлову. Все подтрунивали над ним. Но оннисколько не обижался и хохотал вместе со всеми. О чем бы ни рассказывал Козлов, неизменно заканчивал мысль словами: «Вот напишу роман, и узнаете, кто такой Павел Козлов с Цветного бульвара». Он был москвичом и жил на Цветном бульваре. Забавная перепалка то и дело шла между Пашей и Вадимом. «Твои крысиные усы, — говорил Паша, — позорят наш славный флот. С ними можно только стоять на углу гостиницы «Метрополь» и продавать жевательную резинку». — «А тебе с твоей плоской бандурой, именуемой почему-то гитарой, на Цветном бульваре девушек зазывать, чтобы к полуночи они расходились с такими, как я, а тебя оставляли с носом».

Обменявшись такими любезностями, Паша и Вадим усаживались рядом, на разные голоса затягивали какую-нибудь песню.

У меня на руках, завернутый в пеленки и одеяло спал восьмимесячный сынишка. Спал так спокойно и крепко, будто хотел показать всему миру, как он демонстративно игнорирует эти нескончаемые взрывы хохота. Иногда по трапу спускался капитан и всякий раз, даже не зная причины, вызвавшей смех в кубрике, хохотал вместе со всеми. Побыв минуту, он справлялся о малыше и вновь удалялся. «Все в порядке, Дерсу, — говорил ему вдогонку Женя Сидорцев, — растет сын твой моряком, хотя спит как пожарник». В то же время ребята были очень деликатными, и, как только малыш принимался плакать, они догадывались, что он хочет, есть, и мгновенно, обгоняя друг друга на трапе, поднимались наверх.

Вот так мы шли час за часом, забывая порой, что находимся в заливе Анапки, что приближаемся к открытому Тихому океану, чтобы, встретившись с ним, войти уже в другой залив — Корфа. Но вскоре все переменялось. Обходя мыс Ильпинский, мы неожиданно попали в штормовую полосу. Взбесившийся океан с яростью набросился на нас. Никто не ожидал, что узкой полосой носился смерч и что наибольшей своей силы он достиг как раз у мыса Ильинского. Но обо всем этом я узнала потом. Сразу же, как судно стало швырять по волнам,

Дереник спустился в кубрик и попросил ребят привязать меня к койке. А мне строго сказал: «Крепко держи сына. Не выпускай из рук. И ничего не бойся».

Это было правильное решение, я чувствовала, как наше небольшое судно кидает из стороны в сторону. Иногда явно ощущалось, что мы летим по воздуху. После минутного затишья судно вдруг проваливалось вниз и с тяжелым грохотом ударялось о поверхность моря, как об землю.

Сейчас я не могу вспомнить всех подробностей. В голове было только одно: не выпустить сына из рук. Ребята то и дело поднимались наверх и вновь спускались. Без паники и без окриков давались четкие команды — их выполняли бегом. Иногда в кубрике никого не оставалось. Было страшно. Но я очень верила Дерсу.

Жены моряков берег знают не хуже, чем мужья. Часто, стоя у самого прибоя, я провожала и встречала суда и видела, как при, казалось бы, тихой погоде бушуют и бьются о скалы ревущие прибрежные волны. Так что я понимала: сейчас к берегу

не пристанешь. И от сознания этого появилось чувство безнадежности. Теперь-то я уже точно знаю, что на свете нет ничего страшнее и ужаснее, чем чувство безнадежности, безысходности, обреченности.

Я прижимала к себе плачущего сына и больше всего боялась, чтобы страх и ужас не отняли у меня сил. Порой судно так кренилось, что ввинченный в потолок плафон я видела сбоку, перед собой. Потолок становился стеной, стена — палубой. Я свисала с койки, но знала, что не упаду, так как была привязана к ней. В такие моменты еще сильнее прижимала ребенка. И он, словно чувствуя, как мне тяжело, переставал плакать.

Как-то так вышло, что в последнее мгновение все ребята оказались в кубрике. Женя Сидорцев, Женя Лонгинов, Паша Козлов, Вадим Шевченко, Юстас Лаурушас. Я пишу «последнее мгновение», потому что так оно и было — последнее. После неожиданного душераздирающего скрежета раздался оглушительный удар, и в кубрик будто ворвался стон океана. Все разверзлось перед глазами. В помещение хлынул поток воды. Потом удары следовали один за другим. Я догадалась, что мы бьемся о камни, о береговые скалы. Это произошло оттого, что судно наше уже не имело своего хода. Двигатель вышел из строя. Кто-то из ребят бросился ко мне и, качаясь из стороны в сторону, принялся торопливо развязывать меня. Еще кто-то, так же качаясь, старался поддержать меня и ребенка.

В это время словно кто припечатал нас, привинтил, прибил к чему-то неподвижному, жесткому. Все было как в кошмарном сне. Такая вдруг перемена. Неожиданно над головой оказалось открытое небо, которого, правда, не было видно потому, что падал снег. Не было видно и снега: он только колот лицо в темноте. Казалось, наступил конец света. Протяжно ревел ураган, прерывисто — прибой. Судно разбилось вдребезги. Как плафон. Как лампочка. И мы, наверное, в то время напоминали торчащие из патрона спиральки вольфрама! Я то теряла сознание, то вновь приходила в себя. Но все время чувствовала в руках ребенка. Мне казалось, будто мы находились в гигантском кувшине, который океан подбрасывал как мячик и, наконец, выбросил на пуржистый берег. Кувшин разбился, и мы оказались на воле. Пока меня с ребенком и еще двоих с переломами перетаскивали через огромные камни и торосы подальше от прибоя, четверо, в том числе и Дереник, прижатые изуродованными дверцами, стенками, железяками к палубе, погибли, став неотделимой частью судна.

...Имена матросов я узнала потом: Борис Козырев, Валерий Шаповал, Николай Силин. Их я видела только в начале рейса. Вместе с моим мужем они остались там, на судне. Рядом. Может, перед смертью о чем-нибудь и кричали, просили, но разве услышишь голос человека в момент светопреставления. Один из очередных прибоев сумел-таки подползти под остатки баржи, приподнять и унести с собой.

Мы остались вшестером на берегу, покрытом мягким снегом, обледеневшими камнями, небольшими еще осенними торосами. У двоих, как я уже говорила, были переломы ног: у Вадима Шевченко и Жени Лонгинова. И у остальных были различные увечья: у кого руки, у кого спина, но они могли передвигаться. Только я не пострадала, и у сына не было ни одной царапины.

Несмотря на темень, я все же не только услышала, но и увидела, как со страшным скрежетом уносило баржу обратно в океан. И после, когда, подняв голову, я не могла различить лица ребят, хотя чувствовала их дыхание, я все равно знала, что если присмотреться, то можно увидеть, как баржа, качаясь на волнах, то приближается к берегу, то уходит назад. Там вместе с тремя матросами остался и мой муж. Я знала, что они погибли, но думала о том, что им сейчас очень больно. Только думала. Не могла произнести ни одного слова. Плакать я смогла потом, после. А пока ухитрялась даже радоваться. Радовалась, когда слышала плач ребенка. Но вскоре чувство безысходности и обреченности стало осязаемым, приобрело плоть. И казалось, смерть уже дотрагивалась до нас своими ледяными руками. Было очень холодно. Но с каждым мигом становилось еще холоднее.

Мы не знали, где находимся. Возможно, где-то рядом, в нескольких шагах стоял чей-нибудь дом или заброшенный чум. Но если бы даже они были рядом, мы все равно не могли бы ими воспользоваться. Каждый из нас понимал, что для того, чтобы не терять надежды, надо двигаться. Но каждый из нас знал и другое: мы не могли передвигаться, я уже не говорю о том, что никто не знал, куда нужно идти. Как выяснилось потом, кругом был пустырь.

У ребят осталось одно: они шутили. Шутили, как накануне, как совсем недавно на барже. Окружив меня и перекинув руки друг другу на шею, они грели меня своим дыханием, своими телами. Злая, колючая пурга просачивалась даже через эту живую крепкую стену. Все тяжелее и тяжелее было стоять на но-

гах. Все пятеро меня поддерживали. Даже Вадим Шевченко и Женя Лонгинов. И все шутили. Все: и Вадим Шевченко и Женя Лонгинов. «Жаль, гитары нет, — прокричал сквозь вой пурги Вадим, — а то бы Паша сейчас сыграл как на Цветном бульваре!» «На Цветном бульваре я бы не признался, что мы с тобой знакомы», — сказал Паша. «С кем это?» — спросил Лонгинов, хотя все знали, что слова эти относились к Вадиму. «С Вадимом конечно, — пояснил Паша, — с такими усами, как у него, ни один порядочный милиционер не пустит на бульвар». Снова все засмеялись. Паша еще что-то хотел сказать, но вдруг, сменив шуточный тон на серьезный, обратился к Лонгинову: «Что, Жень, очень больно? Давай обопрись на меня, вот так».

Каждый раз, когда Сурен начинал плакать, ребята придумывали нежные слова, спешили успокоить его. И представьте, он умолкал. Я промокла насквозь и понимала, что промокла и маленький, как ни старались мы его уберечь. Вдруг с одной стороны резко задул ветер, обдавая меня и ребенка сыпучим снегом. Кто-то накинул на нас свой бушлат. Это был Юстас. Бушлат был большим и тяжелым, и, может, поэтому Юстас в моей памяти остался высоким.

Теперь я уже мало что слышала: только обрывки фраз и вой урагана. Подумала о том, каково сейчас ребятам. Когда Юстас накидывал на меня бушлат, создавалась на время брешь в живой стене, и я почувствовала на себе ледяной ветер и сыпучий снег. Вот тогда я по-настоящему поняла, как холодно было ребятам.

Все чаще и чаще плакал ребенок. Это был плач голодного малыша. Я встала на колени и, пристроив ребенка, начала кормить. Он ел жадно, делая порой мне больно, и тогда я чувствовала, что это явь, а не сон. Я понимала, что погиб муж. Но не могла оплакивать его. Пришла невеста откуда взявшаяся сдержанность. Суровая сдержанность. Будто это не я, когда однажды Дерсу поранил себе руку, закричала в испуге и собрала всех соседей. Будто не я навзрыд рыдала, когда Дерсу пожаловался на сердце, сказал, что в сердце у него что-то колет. А я все пыталась: «Ну а раньше, еще до меня, совсем не кололо?» Мне хотелось, чтобы оно болело у него и раньше, чтобы не при мне начинало. А теперь Дерсу нет. Погиб. Умер. Совсем недавно. Он еще даже где-то рядом. Его то уносит море, то вновь пригоняет к берегу, и никто ничем не может помочь. Он рядом, но он мертв. А я ничего не могу сделать. Я даже не могу проститься с ним. Даже не могу о нем и о его товарищах слово сказать. Здесь

его друзья. Они стараются шутить и смеяться. Я все вижу. Они смеются через силу, делая вид, что все будет хорошо. Я кормила ребенка, иногда высовывая голову из-под бушлата. Но ничего не видела. Тьма. Я только чувствовала все.

Ребята образовали над нами как бы шатер. Я хотела встать, но кто-то положил руку мне на голову и сказал, чтобы я не вставала. Я уже не знала, чей это был голос. И никогда не узнаю. Потом меня чуть приподняли, подложили снизу бушлат. Я не выдержала и закричала. Тогда над самым ухом раздался бас Лонгинова: «Не смей сдаваться!» Это было сказано строго и серьезно. И от этого стало еще страшнее. Я не знала ребят строгими и серьезными. Потом на нас бросили еще бушлат, потом еще.

Я уже совсем не могла высунуть голову. Руку держала над лицом сына, чтобы он не задохнулся. Так длилось долго. Тело онемело. Я не могла двинуться с места. Наклонившись над ребенком, я думала только с том, чтобы не придавить его. Мне казалось — главное, чтобы выдержала спина, чтобы она не переломилась. Ног я давно не чувствовала. Они были согнуты, и я не могла бы их выпрямить. Страшно вспомнить, но я уснула. Правда, мне казалось, что это не сон, что это смерть. Все во мне умерло. Осталась только одна мысль. Мысль о том, чтобы не согнулась, не переломилась спина. Я теперь, наверное, знаю, как умирают матери. Они оставляют после себя надежду, что спина выдержит, что телом не подашься вперед и не прижмешься грудью к онемевшим ногам, на которых спит ребенок. Он проснется, поплачет и снова заснет. Ему на коленях матери уютно. Он будет жить в этом крохотном пространстве, пока не подспеют люди.

Но, умирая, я оставляла после себя не только надежду. Я уносила с собой тепло ребят. Тепло как память.

Об остальном Вы знаете сами. Об остальном Вы писали верно. Остальное всему миру было известно лучше, чем мне. Один из тех, кто находился в поисковой группе, рассказал, как все было после. Над снежной горкой поднимались руки, образуя вершину купола. Все пятеро окружили меня и сына, стоя на коленях и наклонившись вперед. Человек из поисковой группы утверждал, что ребята специально подняли руки, когда нас стало заносить снегом. Они так сделали, чтобы сверху шел воздух, и мы не задохнулись. Еще он говорил, что в ту ночь баржу вновь выбросило на берег. Она напоминала спичечный коробок, на который наступили каблуком. Мужа моего и трех его товарищей нашли на палубе, зажатых железяками. Словно тис-

ками. Перебитый, искореженный скелет баржи до сих пор, говорят, лежит на мысу Ильпинском.

Я написала, как могла. Извините, если что не так. Ребята погибли, оставив мне и моему сыну свое тепло. Сама наша жизнь теперь как память о них. Но у них ведь еще были имена...»

Я закончил читать. Закрыв тоненькую ученическую тетрадь в голубой обложке и молча уставился на дверь. Мне все казалось, что дверь откроется, и я увижу простоволосую женщину с печальным лицом, одетую в черную цигейковую шубу, и маленького большеглазого мальчика. Я понимал, что мне нужно было с ними повидаться.

Набросил на себя тяжелую куртку с меховым воротником и вышел на улицу. Вечер был темный и морозный. Перекрещенные квадратики окон, разбросанные то там, то тут, светились разными цветами. Невдалеке под одиноким электрическим фонарем стоял человек. Я подошел к нему. Это был высокий сутуловатый старик с большой окладистой бородой. Он тщетно пытался прикурить. Спичка то ломалась, то выстреливала в сторону искру, которая тянулась тонкой, едва заметной нитью, и исчезала бесследно. Я достал зажигалку, прикрыл ее для надежности ладонью и зажег после двух-трех попыток. Старик согнулся еще больше, тоже подставил ладонь и прикурил.

— Приезжий? — спросил он, выпуская дым изо рта и громко кашляя.

— Да. Командированный. Скажи, дед, а где здесь живет такая одинокая женщина с маленьким сыном? Я ее имени не знаю. А вот сына Суреном зовут.

— Это почему же она одинокая, — каким-то, как мне показалось, злым голосом сказал старик и выплюнул окурочек, — никакая она не одинокая. Ей весь поселок родня. Понял?

— Понял, — сказал я и улыбнулся старику.